

Александр Сергеевич Пушкин¹

Мысль ежегодно праздновать пушкинский день — хорошая мысль, ибо значение Пушкина для русской литературы и русского народа неисчерпаемы.

Конечно, ни на одну минуту нельзя сомневаться в огромности гениального дарования Пушкина. Но дело не только в этой огромности дарования.

«Не родись богат, — говорит русская пословица, — а родись счастливым». Ее можно перефразировать так: родись гениальным, но, главное, родись во-время.

Тэн утверждал, что литература определяется расой, климатом и моментом, как будто бы даже стирая таким образом личность. Гёте в предисловии к своей автобиографии говорит: «Родись я на двадцать лет раньше или позже, я был бы совсем другой». И мы, марксисты, утверждаем, что личность, по крайней мере в весьма и весьма значительной мере, является отражением своего времени. Конечно, большое время может получить отражение только в большом человеке. Можно представить себе подходящую эпоху без подходящего человека (хотя это и редко бывает, ибо в среднем талантливость человечества одинакова во все времена). В этом случае мы имели бы многосодержательного поэта, формально несовершенного. Можно себе представить (и это часто бывает) очень большое дарование в эпоху безвременья. Тогда мы имеем очень большое формальное совершенство при пустоте содержания.

Но читатель скажет: да разве эпоха Пушкина была эпохой великой? Да разве она была эпохой счастливой? Трудно представить себе эпоху более тусклою, и Пушкин метался в ней, страдал, рвался за границу, погиб, запутанный в сетях самодержавия, бездушного света, отвратительных литературных нравов и т. д. и т. п.

Все верно. «То было раннею весной» — такой ранней, когда все

¹ Эта статья А. В. Луначарского была опубликована в его сборнике статей «Литературные силуэты» (2 издания — 1923 и 1925 гг.). Печатаемый здесь текст взят из подготовленного автором (но не изданного) варианта, предназначенного для перевода на немецкий язык. От опубликованных текстов эта редакция отличается несколькими поправками, уточняющими мысль.



Рисунок В. А. Тропинина к портрету (1827 г.)

еще покрыто туманом, когда в воздухе с необыкновенной силой множились и роились болезнетворные микробы, — весной ветреной, серой, грязноватой. Но те, кто пришли раньше Пушкина, не видели весеннего солнца, не слышали журчанья ручьев. Не оттаяли их сердца, косны были их губы и бормотали в морозном воздухе неясные речи. А те, кто пришли после Пушкина, оказались в положении продолжателей, ибо самые-то главные слова Пушкин уже сказал.

Классический век для каждой национальной литературы — это вовсе не наиболее блестящий в политическом, экономическом или культурном отношении век. Это первый век относительно первоначальной, я бы сказал, отроческой зрелости интеллигенции данной нации. Как только обстоятельства позволяют этой нации родиться, упрочиться, как только ее таланты могут сколько-нибудь округлиться, так сейчас же они начинают ковать язык, — а он еще гибок, он еще податлив. Вовсе не нужно фиглярничать, выдумывать, умничать и заумничать. Достаточно брать обеими руками из сокровищницы народной речи и при помощи ее называть вещи, как Адам в библии впервые называет первозданные феномены окружающего.

То же относится к содержанию. Никто еще не выразил ни одного живого, ни одного гибкого, ни одного сложного чувства. И когда они накопились в душе, они прорываются с животельной свежестью, необыкновенной естественностью. Естественность, органичность, первозданность, — вот те печати, которые лежат на счастливом челе классических произведений. И будь ты хоть семи пядей во лбу, превосходи ты даже гениев классической эпохи, все равно ты во многом будешь эпигоном, ибо будешь писать языком, которым они писали, а он уже обычен, или, желая идти дальше, начнешь впадать в манерность, в преувеличенность, в педантизм, в провинциализм и т. д. и т. п.

Жизнь становится все более сложной по содержанию, многообразие постепенно накапливающейся внешней и внутренней человеческой жизни колоссально возросло. Да кроме того из всего этого запаса нам приходится (если мы хотим быть оригинальными) брать не те черты, которые являются самыми важными. Надобно уходить в импрессионизм, т. е. вместо существенного отмечать случайное и беглое, потому что существенное уже отмечено; либо в деформацию, т. е. в стремление исказить явления природы, потому что так, как они есть, они уже чудесно отражены и возвеличены великанами классиками; либо в туманный символизм, пытаясь через вещи видеть «сложное» и «тайное» — чем так богата душа эпитона.

Эпитонство — вещь ужасная. Мы не отрицаем того, что среди эпитонов могут быть тоже великаны по дарованию, не меньшие, чем классики, ни того, что эпитонская литература может быть чрезвычайно изящной, оригинальной, сильной, потрясающей даже. Но всегда люди невольно, в лучшие минуты свои, оглянувшись на Гёте, на Моцарта, или глубже, в другие классические времена — на Гомера, Калидаса, будут чувствовать, что там истинная, безмятежная, глубокая, успокаивающая, целительная, возвышающая красота, и что все позд-



Схематический набросок портрета В. А. Тропинина

нейшие выверты, судороги, домыслы отнюдь не являются прогрессом, хотя и не лишены своей ценности.

Мы уверены, великий потоп социальной революции способен совсем до дна, с самого основания освежить искусство. Но это еще дело будущего, и уж, конечно, нельзя ради этого предполагаемого обновления предьявлять претензии на состояние голого человека на голой земле.

Пролетариат может обновить человеческую культуру, но в глубокой связи и преемственности с достижениями прошлой культуры. И, быть может, самой верной является надежда на то, что тут мы будем иметь явление еще небывалое, не явление новых рождений, а фаустовского возвращения к юности с новыми силами и новым будущим и со всей памятью о былом, не обременяющей, однако, душу.

Пока оставим в стороне этот вопрос и вернемся к Пушкину. Пушкин был русской весной, Пушкин был русским утром, Пушкин был русским Адамом. Что сделали в Италии Данте и Петрарка, во Франции — великаны XVII века, в Германии — Лессинг, Шаллер и Гёте, то сделал для нас Пушкин. Он много страдал, потому что был первым, хотя ведь и те, которые пришли за ним, русские «сочинители» от Гоголя до Короленко, по признаниям их, не мало скорби вынесли на плечах своих. Он много страдал, потому что его чудесный, пламенный, благоуханный гений расцвел в суровой, почти зимней, почти ночной еще России. Но зато Пушкин имел «фору» перед всеми другими русскими писателями. Он первый пришел и по праву первого захвата овладел самыми великими сокровищами всей русской литературы.

И овладел рукою властной, умелой и нежной; с такой полнотой, певучестью и грацией выразил основное в русской природе, в общечеловеческих чувствах, во всех почти областях внутренней жизни, что преисполняет благодарностью сердце каждого, кто впервые, учась великому и могучему русскому языку, впервые принимая к родникам священного истинного искусства, пьет из Пушкина.

Если сравнить этого корифея нашей замечательной литературы с другими зачинателями великих литератур, с бесценными гениями: Шекспиром, Гёте, Дантом и т. д., то невольно останавливаешься перед некоторым абсолютным своеобразием Пушкина, притом своеобразием неожиданным.

В самом деле, чем позднее оказалась особенно богатой и замечательной наша литература? — Своей патетикой, почти патологической патетикой. Наша литература идейна, потому что нельзя ей не мыслить, когда такая пропасть разверзается между самосознанием ее носительницы — интеллигенции и окружающим бытом. Она болезненно чутка, она возвышенна, благородна, она страдальческая и пророческая.

А между тем, если сразу, не вдумываясь, кинуть взгляд на творчество Пушкина, то первое, что поразит, — это вольность, ясный свет, грация, молодость без конца. Звучат моцартовы менуэты, носится по полютку и вызывает гармоничные образы рафаэлева кисть.

Отчего же Пушкин кажется таким беззаботным, что даже говорят

иногда: «все-таки это не Шекспир, все-таки это не Гёте; те более глупскомысленны, те больше философы, больше учителя?»

Положим, что говорящие так неправы, ибо стоит только предподнять пелену грации Пушкина, и можно увидеть глубины, предрекающие дальнейшую русскую литературу: «Моцарт и Сальери», «Пир во время чумы», некоторые сцены «Бориса Годунова», некоторые лирические порывы в «Евгении», загадочный «Медный всадник» и многое другое,— все это какой-то широкий океан, какие-то жуткие провалы и виды на такие вершины, куда только-только хватило бы донестись крыльям Дантов и Шекспиров.

Но эти догадки, эти с необычайной легкостью на abordаж взятые психологические и интеллектуальные ценности, на которые Пушкин как будто бы не обращает особенного внимания, вроде поразительного «Фауста», где в небольшой сцене Пушкин становится вровень с веймарским полубогом, все это создано как будто бы невзначай, как будто великая рука, пробегая по клавиатуре только что открытого инструмента, знакомясь и знакомя других со всеми волшебными сочетаниями звуков на нем, от времени до времени извлекает несколько диссонансов, потрясающих слушателей.

Откуда же это пушкинское счастье при несчастьи его личной жизни? Может быть, это совершенно индивидуальная черта?

Я думаю, нет. Я думаю, что и здесь Пушкин был органом, элементом, частью русской литературы во всей ее исторической органичности.

Встал богатырь; силушка по жилочкам так и переливается. Уже предчувствуются горести и скорби, уже предчувствуются вся глубина и мука отдельных проблем,—но пока не до них, и даже они радуют. Все радуется, ибо сильна эта прекрасная юность В Пушкине-дворянине на самом деле просыпался не класс (хотя класс и наложил на него некоторую свою печать), а народ, нация, язык, историческая судьба. Все это — семена, которые выросли в конце концов в нашу ослепительную революцию.

Пушкин послал первый привет жизни, бытию, в лице тех миллиардов человеческих существ в ряде поколений, которые его устами впервые заговорили вполне членораздельно.

На Западе даже в XII веке у Данте — большая культура за плечами, своя, схоластическая и античная. А русский народ проснулся поздно. Конечно, Пушкин усваивал с гениальной быстротой и Мольера, и Шекспира, и Байрона, и мимоходом Парни и всякую другую мелочь. В этом смысле он культурен. Но все это совсем его не тяготило, это не было его прошлое, это не было в его крови. Его прошлое, то, что жило в его крови,—это была юность просыпающегося народа в глубокой ючи безрадостной исторической судьбы — тяжелой громадной силы народа, начавшего оттаивать в казематные времена Николая I. А его будущее было не те годы, которые он прожил на земле, не скорбная кончина, даже не бессмертная слава Его будущее было все будущее русского народа, громадное, определяющее собою судьбы

человечества даже с того холма, на котором стоим мы еще в загадочной дымке.

Великолепно начали мы с Пушкиным. Страшно сложно и глубоко и вместе с тем с какой-то беззаботностью огромной силы. Знать Пушкина необходимо, потому что он нам дает утешительнейшее знание сил нашего народа. Не ложный патриотизм ведет нас сюда, а сознание необходимости и неизбежности несколько особого служения нашего народа среди других народов-братьев.

Любить Пушкина хорошо и, может быть, особенно хорошо любить Пушкина в наше время, когда наступает новая весна, как-то непосредственно за довольно гнилой осенью. Русское буржуазное искусство кратчайшим путем впало в последние судороги эпигонства, в декаданс, с декаданса — к той художественной кувырк-коллегии, которую породила изживающая себя культура буржуазного Запада.

В грозах, в бурях приходит новая весна. Мы отдаем искусству ту же дань внимания, как и лучшие люди России в первую пушкинскую весну. И между пролетарской весной, какой она будет, когда земля начнет одеваться цветами, и весной пушкинской гораздо больше общего, чем между этой приближающейся весной и тем разноцветным будто бы золотом, на самом деле сухими листьями, которыми усеяна была почва до наступления нынешних громовых дней.

ЛИТЕРАТУРНЫЙ КРИТИК

Е Ж Е М Е С Я Ч Н Ы Й
Ж У Р Н А Л
ЛИТЕРАТУРНОЙ ТЕОРИИ
КРИТИКИ
И ИСТОРИИ ЛИТЕРАТУРЫ

К Н И Г А
П Е Р В А Я



Г О С Л И Т И З Д А Т
1 9 · Я Н В А Р Ь · 3 7